

Максим Горький

Голубая жизнь



Максим Горький

Голубая жизнь

«Public Domain»

1924

Горький М.

Голубая жизнь / М. Горький — «Public Domain», 1924

«Константин Миронов, сидя у окна, смотрел на улицу, пытаясь не думать. Разогнав дымчатые клочья облаков, похожие на овечью шерсть, ветер чисто вымел небо, уложил затейливыми фестонами пыль немощёной улицы и притих, точно сам зарылся в пыль. Слетелись воробьи; прыгая мячиками, они шумно и хлопотливо выщипывают перья с отрубленной головы петуха; из подворотни Розановых вылез одноглазый чёрный кот, прилёг, нацелился, прыгнул, но, не поймав воробья, потрогал мягкой лапой петушиную голову, взял её в зубы, встряхнул и, не торопясь, солидно разводя хвостом, унёс добычу в подворотню...»

Максим Горький

Голубая жизнь

Константин Миронов, сидя у окна, смотрел на улицу, пытаясь не думать.

Разогнав дымчатые клочья облаков, похожие на овечью шерсть, ветер чисто вымел небо, уложил затейливыми фестонами пыль немощёной улицы и притих, точно сам зарылся в пыль. Слетелись воробьи; прыгая мячиками, они шумно и хлопотливо выщипывают перья с отрубленной головы петуха; из подворотни Розановых вылез одноглазый чёрный кот, прилёг, нацелился, прыгнул, но, не поймав воробья, потрогал мягкой лапой петушину голову, взял её в зубы, встряхнул и, не торопясь, солидно разводя хвостом, унёс добычу в подворотню.

Твёрдо шагает почтенный Иван Иванович Розанов, гонит пред собою палкой рыжего козла; в городе заблаговестили ко всенощной, Розанов снял фуражку, обнажив лысый череп угодника божия, одобрительно взглянул в синее, прохладное небо; козёл тоже остановился, встряхивая бороδοю, глубоко воткнув копыта в пыль.

«В Париже – это невозможно, – подумал Миронов. – В Париже не позволят гонять козлов по улицам. Там не бросают под окнами петушьи головы...»

Вдали, внизу, за оловянной полосой реки, за рыжей грудой зданий водочного завода и серыми пятнами домов земской колонии душевнобольных, опускается к песчаным холмам, в чёрные, мохнатые кусты можжевельника, распухшее, лишённое лучей, оранжевое солнце, как будто оно, гладко обритое, ускользнуло из колонии душевнобольных и прячется. Это повторялось каждый вечер и надоело, как страница многократно прочитанной книги, прочно вклеившаяся в память.

Чтоб не думать, Миронов расставлял в жемчужном небе чёрные кружочки карты железных дорог: Москва – Рига – Берлин – Кёльн – Париж, но сегодня в небе не хватало места для этих кружков, последний из пяти приходилось ставить или очень близко к солнцу или в центре его, и тогда точка Парижа становилась досадно невидимой. А поставить эту точку в небе было совершенно необходимо; утвердись на ней, воображение тотчас же, как всегда, создало бы голубой город, полный торжественно органного шума, город весёлых людей и необыкновенных приключений, где жизнь текла легко, просто, не скрывая в себе ничего непонятного, и где даже такой злой человек, каков Рокамболь, не в силах всю жизнь делать зло. Там нечеловечески обаятелен даже урод Квазимодо, там жили «Три мушкетёра», действовал таинственный «Рыцарь курятника» и бесстрашный Д'Арвиль, один из «Трёх любимцев Анны Австрийской». А – здесь...

На берегу реки два голоса провожали солнце тягучей песней, она хорошо сливалась с медным гулом благовеста церковей; ревуший бас возчика Артамона, смягчённый расстоянием, гудел тоже мягко, точно колокольная медь. Целый день, с утра, пылил и посвистывал сухой ветер, а теперь церковный благовест и песня, насытив воздух потоком ласковых звуков, как будто стремились окончательно установить на земле и в людях тихий, музыкальный порядок.

Но певучая тишина субботнего вечера не могла успокоить Миронова, всё в нём было разодрано, спутано, встревоженная память показывала картины пережитого, подавляя тяжёлым, пёстрым хаосом.

Впервые испытывал он такое волнение памяти и столь тяжёлую необходимость думать; это даже пугало его, он уже несколько раз оглядывал углы комнаты, как бы ожидая увидеть в синеватом сумраке вечера кого-то, кто насилует его, заставляя вспоминать и обдумывать.

Странно: если закрыть глаза – тьма начинает дрожать, в ней, в каждой точке её, зарождаются маленькие вихри и, располагаясь то горизонтально, кругами на воде, то крутятся столбиками чёрной пыли, приводят безграничие тьмы в безмолвное кипение, вся тьма сочится, потеет мыслями, и они облекаются в надоедливые очертания скучных слов:

«Как же я буду жить?»

Когда отец говорил о мясе, рыбе или молоке: «Задумались» – это значило, что мясо и рыба – загнили, молоко – закисло.

Незадолго до смерти отца мать крикнула ему:

– Подумал бы, дурак, ведь издохнешь скоро!

Он, посмеиваясь, ответил:

– А ты знаешь, что значит – думать? Это значит – пыль стирать. Вот – в руке у тебя полотенце, ты стираешь им пыль, было полотенце чистое, стало грязным. Так и мы с тобой, Лидия, достаточно задумались...

Мать, ревностно следившая за чистотой в доме, рассердилась, закричала, наскაკивая на отца:

– Так я – грязная тряпка? Так у меня в доме грязно? Тринадцать дней медленно прошло с того утра, когда Миронов, выйдя в кухню умываться, увидел огромное тело матери на полу: кособоко, плечом прислонясь к печке, она сидела, упираясь рукою в пол, и мычала, глядя в угол страшно вытаращенными глазами. Когда он наклонился поднять её, думая, что она всё ещё пьяная, мать, с трудом отклеив ладонь от пола, взмахнула рукою и повалилась к его ногам, всхрипывая, как лошадь. Она храпела и мычала ещё четверо суток и всё взмахивала правой рукою, отталкивая от себя кого-то, а на пятый день тяжело свалилась с кровати, поползла в угол спальни, к сундуку, и там, громко крикнув, умерла.

Неделю, с утра до вечера, в доме суетились чужие люди, шмыгала по всем комнатам маленькая, горбатая и обидчивая сестра милосердия, кричал и непрерывно курил толстый доктор, сидел, широко расставив ноги, рыжебородый, лиловый поп Борис, все о чём-то расспрашивали Миронова, а неприятный всей улице столяр Каллистрат назойливо допытывался:

– Что же ты, скука-сирота, думаешь делать?

В Париже смерть человека и всё, следующее за нею, гораздо проще, понятнее, более интересно и не так ненужно, не так страшно. Там на смерть женщины не приходят смотреть чужие люди, и, конечно, там невозможен такой человек, как столяр Каллистрат.

В день похорон матери он вынес на улицу горшок сметаны и, макая в неё малярную кисть, стал мазать забор своего сада. Зачем? Он не был пьян и делал это нелепое дело вполне серьёзно, а когда его спросили, что он делает, – спокойно ответил:

– Забор крашу.

– Сметаной?

– Краски у меня не нашлось.

Минут десять он усердно и молча мазал серые, выгоревшие на солнце доски, десятка три взрослых и множество мальчишек следило за его работой, потом подошёл уважаемый Иван Иванович Розанов и ударом ноги разбил горшок.

...Осматривая мощное тело матери, доктор неприлично и обидно сказал:

– Не пьянствуй, – прожила бы ещё лет сорок.

Миронов вспомнил, что хотя эти слова показались ему грубыми, однако он тотчас сосчитал: если б мать прожила ещё сорок лет, ему, в год её смерти, исполнилось бы пятьдесят девять. И, наверное, она всю жизнь кричала бы на него:

«Дурак! Весь в отца».

Большеглазая, крикливая, с утра полупьяная, она, тяжело топя, ходила бы по комнатам с тряпкой в руке, истребляла мух, стирала пыль, насыщала воздух запахом маринованного лука и мочёных яблок, любимой закуски её. И ругала бы отца.

Она ругала его всегда, а особенно по праздникам, когда он, навесив на свои длинные, угловатые кости мундир топографа, уходил в город играть на бильярде; он был знаменит как мастер этой игры, и вообще во всём – в слове и деле – был необыкновенный человек.

Пред Мироновым вытянулась тощая фигура, с длинными, но редкими усами, с тёмным клочком волос под нижней губою; отец кашлял, плевал розовой и красной слюною и, подмигивая тёмным, весело горевшим глазом, рассказывал Косте чудесные истории о туркменах и генерале Скобелеве, о Кавказе, Хиве, Бухаре; эти рассказы рисовали его человеком лёгким, как птица, беззаботным странником по земле. Под левым глазом его была морщинистая, красная яма, она оттянула веко, и казалось, что глаз внимательно заглядывает в эту яму, отец говорил, что это – след раны, нанесённой туркменом.

Он никогда не ругался с матерью, даже спорил с нею редко, но всегда сердил её какими-то особенными, насмешливыми словами, мать часто кричала:

– Перестань, Митька! Смотри, накажет тебя господь за глупость...

– Бог за глупость не карает, бог дураков любит, – возражал отец.

Костю тоже беспокоили слова отца, присыхая к памяти его незаметно и плотно, как чешуя рыбы к коже руки. Склеивая чью-то разбитую скрипку, отец вынул из неё круглую, коротенькую палочку и сказал:

– Эта штучка называется – душа. Вот и в тебя, Лидия, дьявол вставил такой же стерженьк...

– Врёшь, – закричала мать, – мне душа богом дана...

В день её именин, когда она, пышно одетая, важная, пришла из церкви, отец поднёс ей кусок кашемира на платье, а внутри подарка оказалась противная зелёная картина «Смерть грешника», – в ногах умирающего человека стоял, оскалив зубы, высунув огненный язык, зелёный чёрт.

Сначала это рассмешило, а потом обидело мать, и за обедом, сильно выпив, она вдруг заплакала, назвала отца:

– Горе моё, несчастье моё!

В редкие часы миролюбивого настроения она именовала отца «фокусником» за то, что он сделал музыкальный ящик, который играл кадрили «Вьюшки», песню «Матушка, голубушка» и гимн «Коль славен наш господь». Ящик этот мать, пьяная, разбила, растоптала ногами. Костя собрал обломки, спрятал их на чердаке и долго упрашивал отца починить удивительное соединение дерева и металла, которое отец какою-то чудесной силой заставил петь весело, печально, торжественно. Отец сказал:

– Отстань, это – ерунда, ящик!

И, вздохнув, задумчиво играя ухом Кости, прибавил:

– А вот если б она как-нибудь лопнула, опилась, – я бы сделал штучку!

Он любил мелкую, затейливую работу, выпиливал рамки для фотографий, чинил гармоники, склеивал разбитые скрипки и, работая, всегда весело напевал:

Семь су,
Семь су,
Что нам делать на семь су?

Самое лучшее, что сделал отец и что Костя бережно хранил, это глобус, подарок отца в тот день, когда Костя перешёл во второй класс гимназии. Глобус был обыкновенный, но нижнее полушарие его отец заключил в медную чашку для мытья чайной посуды, вытравил на ней кислотою океаны, континенты, острова, искусно раскрасил их, набил в медь чаши стальные шпильки и припаял на штативе стальную гребёнку, так что она обнимала нижнюю часть глобуса.

Когда Костя повернул земной шар на оси, гребёнка бойко начала тренькать весёлую песенку:

Чижик, пыжик, – где ты был?

Это понравилось даже матери, она долго катала глобус на стержне, смеясь хриплым, пьяным смехом. А кошке не понравился голубоватый тренькающий шар, фыркнув, она убежала. В скучные минуты Костя очень любил раздражать кошку забавной, металлической музыкой глобуса.

Весёлый человек был отец и любил шутить, а вспоминать его шутки не только не весело, но даже неприятно.

В год смерти своей, когда мать уехала на богомолье в монастырь, отец приделал ко всем дверям квартиры деревянные дудки с резиновыми мячами на концах; отворишь дверь – дудка пронзительно свистит, и затворишь – свистит. Когда мать возвратилась домой, это страшно рассердило её.

– Что ты, дьявол, издеваешься надо мною! – закричала она, побагровев, и, отхлестав отца по лицу мокрой, грязной тряпкой, переломала все дудки.

Чудаковато подпрыгивая, отец убежал в сад, лёг там, под липой, на траву, посмеялся и беспокойно задремал. Миронов вспомнил, как страшно было ему слушать, сидя рядом с отцом, бредовый его шёпот и как жалко было смотреть на костлявое, серое лицо милого, но непонятного человека. В тот час на его любовь к отцу легла печальная тень и возникло чувство недоверия ко всему весёлому, что рассказывал отец о своей жизни.

И тогда же он испытал одно из тех, навсегда памятных впечатлений, которые формируют душу человека: в густой листве обильно цветущей липы гудели пчёлы, этот непрерывный, струнный звук, поглощая все другие небогатые звуки знойного дня, возносился в голубую пустоту небес, превращаясь там в чудесное пение.

Миронов, удивлённый, долго, до боли в глазах, смотрел в небо и наконец, поймав там дрожащую точку, как бы тёмную звезду без лучей, догадался, что это поёт жаворонок. С того дня у него явилась потребность думать звуками, вторить всему, о чём думалось, песнью без слов.

Но за последние тринадцать дней он потерял способность заглушать думы звуками без образов, в мозг его вторгалась пёстрая пыль воспоминаний, в памяти звучал глуховатый голос отца и бессмысленные окрики всегда пьяной или раздражённой матери. Её упрёки и жалобы заставили его понять, что она замужем второй раз, а первый её муж был начальником отца и стрелял в него из пистолета.

– Горе моё, что не убил он тебя! – кричала она отцу.

Он чувствовал в их жизни что-то тёмное и опасное, может быть, преступное, чего не хотел знать, о чём боялся думать, но именно оно-то и тревожило его воображение всё более настойчиво; это продолжалось до поры, пока он начал читать книги, они рассказали ему, что существуют другие, более интересные и разрешимые тайны, есть другая, лёгкая, праздничная жизнь. Застенчивый, неловкий, он не имел друзей; легко простужался, часто прихварывал, это позволило ему читать много, и пред ним возник в голубом тумане восхищения чудесный город Париж.

Отец умер весною, в саду, окапывая яблони, – Миронов вспомнил, как жутко бормотала мать, наклонясь над трупом:

– Вот, Митя, вот... Я говорила...

Четыре года тяжёлой, стыдной жизни с пьяной матерью сделали Миронова ещё более замкнутым. Он полюбил удить рыбу, гулять одиноко в поле, в лесу, слушая пение птиц, шелест трав и листья, странные шёпоты ветра. Особенно хорошо по праздникам слушать издали музыку военного оркестра; вблизи, когда видишь, как солдаты, надувая щёки, делают музыку, она не радует, не утешает. Иногда он брал с собою французскую грамматику и читал её, ста-

раясь запомнить чёткие слова, но память не удерживала их, и, не слагаясь в понятную речь, они таяли, превращались в необыкновенные сочетания красивых звуков, в голубую музыку.

Лиза Розанова понравилась Миронову в первый день пасхи, когда он увидел её одетой в голубое платье; она шла из церкви, торжественный звон колоколов провожал её, щедро освещало праздничное солнце, маленькая, стройная и в то же время пышная, как необыкновенный цветок, она была вся голубая, даже в голубых чулках.

Она жила против его дома, Миронов часто видел её, но её тонкая, плоская фигурка, остроносое, птичье лицо с круглыми глазами и капризным или болезненным изгибом бескровных губ, – ничто в ней не трогало его сердца и воображения, ему даже казалось, что эта девушка так же некрасива, как сам он. И при этом он знал, что Лиза лечится козьим молоком, противно пахучим. Но тогда, в день пасхи, он радостно удивился: как же это он не заметил раньше, что Лиза красива? И с того дня он сделал её соучастницей своей мечты о певучей, голубой жизни, она стала для него соломинкой в шумном потоке непонятного и пугающего.

Познакомиться с нею он не решался, но, возвращаясь со службы, шёл мимо дома Розановых замедляя шаги; пообедав, садился с книгой у окна и следил: не появится ли девушка на улице? Иногда она выходила и, быстро топя тоненькими ножками, шла к реке, в склад лесных материалов, к своему отцу; шла она, держась близко к заборам, как бы сохраняя возможность спрятаться в первые же ворота. На узенькой спине её вздрагивала коротенькая коса тёмных волос с голубым бантом на конце. Миронову казалось, что девушка эта, так же как он, не любит, боится людей, это ещё более сближало его с нею.

Проводив её, он подходил к зеркалу и с обидой, с грустью рассматривал в нём неподвижные, тёмные глаза, разделённые широким переносьем, левый глаз немного косил, как бы заглядывая на оттопыренное восковое ухо; над верхней губою, затемнённой чёрным пухом, опускался бесформенным комом жёлтый нос, на голове непокорно торчали вихрами жёсткие, тёмные волосы. Ему казалось, что всё у него растёт в разные стороны, всё расплывается, точно корни дерева на бесплодной почве; руки слишком длинные, и неприятно тонки их пальцы, рот – велик и набит такими неровными зубами, что не хотелось улыбаться.

Вообще же он не любил смотреть в зеркало, замечая, что если смотреть долго – темнеет в глазах, отражение постепенно исчезает, возможно, что вместе с ним исчезнешь и сам.

За несколько дней до смерти матери он, неожиданно для себя, сказал:

– Ты бы, мама, посватала Лизу Розанову...

Сказав, – испугался, покраснел, чувствуя, что ему стыдно и напрасно он выдал свою тайну. Но в этот день мать была трезва и, как всегда в трезвом состоянии, немногословна. Наливая сливки в чай себе, не взглянув на сына, она бросила:

– Дурак.

И только минуты через три, вздохнув, отирая пот с багрового лица, прибавила:

– Какой ты муж? Муж должен быть – вот!

Крепко сжав опухшие пальцы в большой красный кулак, она потрясла им в воздухе.

Вспоминать о ней было тяжело; чем более думал он о матери, тем более страшной и чужой ему становилась эта женщина, грубая, задыхавшаяся от жира, с огромными, мутными глазами; ему казалось, что, думая, он действительно стирает с неё пыль и от этого она непонятнее, страшней. Так же неприятно обнажалось пред ним всё, что он пытался обдумать, понять.

Миронов потрянул головою, оглянулся – синий сумрак в комнате стал гуще, теплее. За рекою, в розоватом небе, ярко сверкала вечерняя звезда.

По улице едет телега, нагруженная мебелью, матрацами, цветами в кадках; под пальмой, на серых узлах, сидит девушка в красной кофте и белом платке, на коленях у неё клетка с какой-то чёрной птицей, должно быть – дрозд. Из-под телеги падают в пыль пёстрые, детские кубики; рядом с тяжёлой, толстоногой лошадью шагает старичок, помахивая вожжами, и, задрав голову вверх, кричит девушке сиплым голосом:

– А – куда пойдёшь? Кому скажешь?

«Старый дурак», – мысленно обругал его Миронов.

Идёт Артамон, возчик лесного склада, коренастый, тяжёлый, как медведь; его мохнатое, безглазое лицо изуродовано заячьей губою, это сделало рот его трёхугольным и противно открыло широкие, жёлтые кости свирепых зубов; рядом с ним легко шагает тонкий, стройный столяр Каллистрат, босый, в переднике, выпачканном охрой и клеем, с тёмным ременным венчиком на светлых, курчавых волосах; под его ястребиным носом светятся золотистые усики. Накручивая на палец острую медную бородку, он, глядя в сторону Миронова, звонко говорит:

– Скука.

– Не тронь, пускай скучает, – раздаётся грубый, ревуший голос Артамона. Они идут медленно, лениво загребая ногами пыль, пыль встаёт сзади их красноватым облаком. Вся улица восхищена нечеловеческой силой возчика и боится его, как боится странного озорства столяра.

Миронов крепко закрыл глаза; ему иногда думалось, что если глаза человека закрыты, – он становится невидим для людей.

Катились дни, быстро перепрыгивая через тёмные ямы ночей; ночи были жаркие и бессонные, а когда Миронов засыпал ненадолго – снилось странное: по широкой дороге, освещённой множеством костров, идёт неисчислимая толпа медных кофейников однообразной формы; все они на длинных ножках, и есть в них что-то общее с пауками; маленький, горбатый уродец мостит улицу, забивая в землю гвозди так плотно один к другому, что земля кажется покрытой железной чешуёй; по реке плывёт огромная рыба, заглатывая отражение луны, а луна в небе, очень тёмном, подпрыгивает, раскачивается, как маятник часов; снилось и ещё много тревожного своей бессмысленностью.

Миронов жил, не слыша тяжёлых шагов матери, её хриплых и грубых окриков, из комнат выветрился тошный запах водки, мочёных яблоков и маринованного лука; сухонькая старушка, кухарка Павловна, двигалась бесшумно, точно кошка, была молчалива и только вздыхала, присвистывая. Но всё-таки и в тишине этой жить было неловко, казалось, что все вещи, фотографии, иконы безмолвно, но строго спрашивают:

«Ну – что ж ты будешь делать?»

Миронов заметил, что так же требовательно смотрят на него и люди улицы, все они чего-то ждут, липкие взгляды их угнетали его.

В воскресенье, на закате солнца, он удил окуней, сидя на борту баржи, полузатопленной ледоходом, вслушиваясь в отдалённое пение медных труб военного оркестра; музыка и медленное движение голубоватой воды вызвали в нём желанное состояние бездумья, тёплые волны звуков ласково поднимали над землей. Если внимательно прислушаться, – течение реки тоже даёт мягкий, басовый звук, все другие звуки смываются им, но не вполне, они видны слуху, как сквозь мутное стекло. Миронов не заметил, как подъехала лодка.

– Хорошо клюёт?

Вздрыгнув, он выхватил лесу из воды, – на крючке бился толстенький окунёк.

– Вот, с нами – счастье вам!

– Да.

– Много поймали?

– Три. Это третий.

Лиза Розанова в сиреневом платье, с голубой лентой в косе, сидела на корме, а в вёслах – черноволосая, толстая подруга её, Клавдия, в розовой блузе, в синей юбке; она лениво шевелила вёслами, не давая течению увлечь лодку. Лиза улыбалась. Миронов тоже хотел улыбнуться, но, вспомнив о зубах своих, крепко сжал губы.

– Едем, – сказала Лиза.

Её подруга опустила вёсла в воду глубже, откинулась всем телом назад, одно весло сорвалось и обрызгало водою ноги рыбака.

– Ой, извините!

Лиза засмеялась стеклянным смешком, Миронов смущённо дрыгал ногами, стряхивая воду с ботинок и брюк, думая:

«Другой бы разговорился с ней, а я... Может быть, они нарочно обрызгали меня, в шутку, чтобы начать знакомство...»

Лодка сильными толчками спускалась по течению, насмешливо поскрипывали вёсла. Миронов выплеснул в реку из ведёрка воду, окуней, собрал удочки и пошёл домой, согнувшись, глядя в землю, жалея себя, а подойдя к дому, увидел, что коричневая краска фасада и ворот, зелёная – ставень выгорела, вздулась пузырями, облупилась.

«Надо перекрасить», – решил он.

Рано утром в среду лысый старичок, заносчивый и едкий, начал скоблить дом железной скребкой, ему помогал пёстро измазанный красками курносый подросток; работая, старик пел хорошим, мягким голосом:

Он – уехал, со мной не простился...

Полюбил другую

– дискантом подпевал подросток. Миронов, разбуженный скрежетом железа и песней, лежал и думал:

«Глупо. Одному уже поздно петь про любовь, другому – рано. И почему маляры, работая, всегда поют?»

Через несколько дней, когда старый маляр начал мазать голубой краской зашпаклёванный, пёстрый фасад точно оспой заболевшего дома, – посреди улицы стал монументом уважаемый Иван Иванович Розанов и строго крикнул:

– Эй, ты как это красишь?

– Как велено, – непочтительно ответил маляр.

– Почему – синим?

– Так велено.

– Это улицу безобразит!

– Не моё дело.

– Экая глупость!

– И глупость не моя.

Поливая цветы на подоконниках, Миронов слышал этот диалог, он обидел и встревожил его.

«Почему же голубой дом – безобразие и глупость? Пожалуй, откажет мне Розанов, когда я посватаюсь».

Он торопливо вышел на улицу, посмотрел на обесцвеченные солнцем и дождями домики, их связывали друг с другом серые заборы, осеняла пыльная зелень вётел, они спускались к реке двумя вереницами нищих, в одной – семь, в другой – десять, среди семи красовался одноэтажный кирпичный дом Розанова, четыре окна его смотрели на улицу неласково. Треугольник под крышей дома Миронова был уже окрашен, точно оклеен шёлком, масляно лоснился на солнце и ласкал глаз своим спокойным, синеватым цветом.

Величественно дотронувшись указательным пальцем до козырька своей фуражки, Розанов сказал:

– Непрактическая краска.

– Красивая.

– И дорогая.

– Прочная.

– Не знаю.

– Маляр говорит – прочная.

– Все маляры – врут, – строго заявил Розанов и отошёл солидный, прямой, благосклонно подставляя солнцу серьёзное лицо своё и широкую, серебристую бороду. Миронов не успел спросить его: почему маляры врут? Он ушёл домой, взял книгу и сел у окна, – тотчас же на улице снова явился Розанов с метлою в руках, начал сметать сор и пыль из-под окон своего дома к середине улицы. Маляр крикнул:

– Эй, почтенный! Ты напрасно затеял пылить, работу портишь мне.

Не отвечая, Розанов пылил. Миронов понял, что он делает это нарочно, назло, огорчился, ушёл в сад и сел там на траву под старой яблоней.

«Не выдаст он дочь за меня. Зачем я начал красить дом?»

Он слышал, что на улице маляр ругается с Розановым, следовало бы остановить маляра, но обессиливали скучные, серые думы о людях, которые так странно мешают друг другу жить, и Миронов просидел в саду до ужина.

Ночью, душной и безмолвной, ему не спалось. Раздражающе ярко светила луна, лаяли и выли собаки. На полу лежал желтоватый квадрат, и в нём чётко рисовались тени переплёта рамы окна. Вдруг в пятне света явились ещё три тёмные полосы, потом его покрыла тень человека, как будто по воздуху проплыл фонарщик с лестницей на плече. Вот – ясно слышен шорох, скрип дерева. Миронов сбросил с себя простыню, сел на постели, глядя в окно, перед окном стояла лестница, очевидно, забытая маляром, и кто-то хочет утащить её. Миронов вскочил, осторожно открыл окно, взглянул вверх, – на верху лестницы прилепился человек, видно было его босые ноги; тогда Миронов, немного испуганный, но больше удивлённый, бесшумно вылез из окна на улицу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.